

Аркадий МАКАРОВ СТАРЫЕ ДОМА



@ЭЛИТА



16+

Аркадий Макаров

Старые дома

Электронное издательство "Аэлита"

2013

Макаров А.

Старые дома / А. Макаров — Электронное издательство
"Аэлита", 2013

Повесть рассказывает об удивительной находке в горящем здании старинной рукописи православного служителя, в которой от первого лица обобщается работа священника в России за весь 19 век. Довольно правдиво и подробно описывается весь путь потомственного священника: учёба в семинарии, затем трудное поэтапное прохождение через все инстанции до заветной должности протоиерея. Чудовищная коррупция, захлестнувшая церковную иерархию в девятнадцатом веке, разъедала и деформировала истинную веру в божественную справедливость, порождала нигилизм, безответственность, служение не истинному Богу, а Мамоне, Ваал-Зебулу. Эта повесть с первичным названием «Пролог», как нельзя точно описывает все родимые пятна сегодняшнего чиновничьего пожирания своей страны, разрушения веры в нынешнее руководство, потеря им авторитета и уважения граждан, то есть пролог к нашему новому общественному строю. Хотя прошло с тех около двухсот лет, но до сих пор эти события выглядят остро современно.

© Макаров А., 2013
© Электронное издательство
"Аэлита", 2013

Содержание

Из минувшего:	5
Из жития протоиерея Певницкого	13
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Аркадий Макаров

Старые дома

Из минувшего: Старые дома

*«...и говорил им:
написано: дом Мой домом молитвы наречётся;
а вы сделали его вертепом разбойников».*

Евангелие от Матфея

Старые дома, как и старые люди, больны скопидомством и потерей короткой памяти. Что было вчера, они забывают напрочь, а вот что случилось давным-давно – помнят обязательно.

Но пока они – и дома, и люди, сутулясь, противостоят напору сквозного ветра перемен, то можно отыскать в каждом шкафу по скелету и на каждом чердаке по домовому, если покопаться.

Но это если хорошо покопаться...

А молодёжь нелюбопытна и страдает отсутствием терпенья. Ей подавай всё и сразу, желательно в яркой упаковке, чтоб зажигать на местных тусовках, чтоб поприкалываться, чтоб весело было.

Но в жизни весело бывает не всегда...

Как-то давным-давно, после окончания института химического машиностроения, мне довелось работать начальником участка объединённых котельных в городе Тамбове.

Работа, надо сказать, мерзопакостная. Износ тепловых сетей и оборудования более семидесяти процентов. Технологические колодцы забиты всяческой дрянью, полузатоплены, тепловые камеры в горячей испарине, протечки достигали критического уровня.

Бригада ремонтников никогда не просыхала как от водки, так и от фонтанирующего из труб кипятка.

Короче, котельные обогревали больше улицу и траншеи, где проложены изъеденные коррозией трубы, а жизнь в близлежащих домах меркла и скукоживалась от вечного озноба и простуды. Поэтому все ответственные конторы были завалены жалобами на плохое обслуживание жильцов теплом.

На такую работу уважающий себя инженер никогда не пойдёт – проблем выше крыши, поэтому меня с подозрительной готовностью сразу взяли в начальники разваливающегося участка.

А у меня ни опыта, ни знаний в такой области, как теплотехника, одна только агрессивная самоуверенность недавнего середнячка-студента.

Была, была в этой работе одна отрада и отдушина – женщины. Операторы котельных. Сто пятьдесят человек самого надёжного возраста от 18 до 60 лет. Если отбросить тех, которым за сорок, то в сухом осадке остаётся где-то сорок-пятьдесят молодых, незамужних, в меру красивых и в меру уступчивых новому начальнику женщин. Успевай поворачиваться! А вертеться приходилось неимоверно. Я только успел жениться, а здесь – хлеба вольные!

Работа операторов суточная, вот они от скуки и домогались моего внимания, особенно в ночную смену. Только уgomонишься в кровати, сладко закачаешься во сне, а тут – на тебе! Дежурный диспетчер с бригадой ремонтников машину за тобой прислал: в одной из котельных в нагнетающем воду насосе сальник протёк. Ты – начальник, вот и действуй! Обучай своих

баб ключом работать, гайки под болты подгонять! Азы слесарного дела на видном месте вывешивай!

Написал, вывесил.

А тут снова диспетчерская машина под окном сигналист: обмуровка котла от газозвездной смеси в щёбенку пошла. Запальник в топке еле тлел, а в газовой горелке свист был. Вот взрывная смесь и сработала. Вот и хлопнуло. Хорошо, что в это время операторша в душевой комнате была, на ночь в порядок себя приводила, а то бы гибель на посту не избежать – операторшу в морг, а начальника в наручники.

Потом опять какая-нибудь очень уж впечатлительная дурью к третьим петухам маяться зачнёт: звонит сама домой и томным голосом выпевает моё имя отчество, а жена трубку возле уха держит.

Той дурёхе – потеха, а мне – скандал в доме.

Такая вот была «се ля ви»!

Но я не про любовь воровскую, когда с оглядкой делаешь своё дело, а про один старый дом хочу рассказать.

Как обычно профилактический ремонт трубопроводов к зиме делают летом, по той же самой поговорке, что и сани...

Одна из моих устаревших котельных была закрыта на модернизацию.

Дом, в подвале которой находилась эта самая котельная, подлежал сносу из-за ветхости, а рядом уже готовилась площадка под новую модульную установку, которая экономичнее и надёжнее старой. Поэтому надо было срочно менять всю схему трубопроводов, чтобы согласно проекту, выданному в производственном отделе, обеспечивать теплом и горячей водой жителей небольшого района: несколько домов да детский садик.

Демонтаж старых труб (запас карман не трёт, лишними трубы никогда не бывают) решено было начинать со списанного старого, времён фабричной застройки, двухэтажного дома, порядком пожившего на этом свете.

Дом был построен ещё в середине двадцатых годов прошлого века из шлаковых блоков для рабочих местного паровозного депо.

А тогда строили, как и теперь – шлак вольный, а на цементе можно и сэкономить. Дом осыпался, поэтому через несколько лет рабочим дали квартиры в кирпичных домах, а этот, барачный, был приспособлен под общежитие для нахлынувших в город из ближайших сёл строителей. Город рос и ширился. Индустриализация. Возводились новые заводы.

По утрам во всю мочь призывно горланили заводские и фабричные гудки, возвещая начало нового трудового дня.

«Вставай, не спи, кудрявая! В цехах звеня, страна встаёт со славою навстречу дня...» – так, кажется, писал один из лирических поэтов того времени.

Приезжий люд был вполне доволен условиями жизни. В деревнях повальная антисанитария, а здесь – и душ и отопление. И кухня, хотя и общая, но зато не примус с керосинкой.

Печь на кухне каменным углём истопник с утра протопит так, что и вечером чайник кипятком исходит. Живи, не тужи. Только работай. Ты же пролетариат, гегемон, в этом оркестре твоя первая скрипка.

Всё было примерно так, хотя и не всегда и не везде.

Говорили даже, что здесь доживал старость один вернувшийся с Соловков столетний умник, бывший батюшка, не сумевший после революции спрятаться от русскоязычных комиссаров, впавших разом в кровожадную антирелигиозную ересь...

Но не будем вдаваться в политику, она не для трудового ума.

Теперь дом нехотя давал временный, как тогда казалось, приют маргиналам всех национальностей. Братья по разуму, братья по классу. Очень уж шумные собирались компании. Пили водку в меру и без меры. Когда напивались, то рьяно дрались, иногда доходя до поно-

жовщины. Буйных по-своему уговаривали в милиции, и они возвращались нескоро. Потом всё начиналось сначала.

Дом по вечерам ворчал в отопительных трубах, сердито шебаршил на чердаке ветошью. Осенними промозглыми тяжёлыми для рабочего люда деньками плакал, пускал по чумазому лицу слёзы, даже и не пытаясь их вытирать.

От ветхости и от буйного нрава обывающих в его чреве народа, стены еле держались, сорили на полу рыжим колючим шлаком, и тогда надо было по оштукатуренной поверхности клеить обои, да и не в один ряд, а то невзначай ткнёшь пальцем – и дыра на улицу. Хоть приглашай секту дырников молиться на белый свет через эти дыры.

При временном послаблении властей, обитатели дома женились, заводили детей, разводились и снова женились, хотя жили в одной комнате по три-четыре человека, и вся семейная жизнь с её любовью и скандалами проходила на глазах привыкших и не очень любопытных поселенцев. Сам знаю. Сам помню.

Скушно не было.

Но время неумолимо. Как сказал другой поэт: «Я знаю, время даже камень крошит...» А здесь не камень, а паровозный шлак попеременно с цементной перхотью. Дом одряхлел. По стенам, особенно по углам, появились извилистые глубокие морщины, из которых по малейшему прикосновению пальца густо осыпался всё тот же ржавый шлак, больше похожий на окаменевшую гречневую крупу.

«Всё! – сказали в горисполкоме, – пока беды не случилось, эту богадельню надо ликвидировать. Муравейник, понимаешь ли, развели!»

Пока бумаги, то да сё, жильцов пока переселяли, «овнов» – семейных – по дальним углам раскидывали, а «козлиц», то есть холостых на вольную волю отпускали, лето, как говорится, уже на юг с ласточками собралось; вечера стеклянными стали и зори – красным по бирюзовому цвету, как полупалки с Павлова Посада, горят – глазам больно.

Вызвали меня в управление:

– Давай, начальник, действуй, чтобы к новому отопительному сезону всё стояло, как надо!

А как надо, то в проектах задокументировано. Схватился я за голову:

– Мать честная! да тут работы на целый год, а до отопительного сезона пара месяцев осталась.

– Ты сопли подбери! – сказали мне власти. – Враз партбилет на стол положишь!

– Да не партийный я! – начал оправдываться.

– Как – не партийный! Кто ж тебя начальником поставил?

– Сам...

– Самее тебя не нашли что ли?

– Наверно...

– Развели, мать вашу так, партизанщину! Народ с тебя спросит! Иди, не разговаривай!

Говорун, понимаешь ли!

Должность не велика, а за живое, как репей за штаны, цепляет. Жить надо. Работать давай!

Собрал я своих зачумелых от сырости и похмельного недомогания горе-рабочих:

– Здорово, мужики!

Хмурятся:

– Здоровее видали! – вытирают рукавами лица.

Я последнее замечание оставил без внимания. Определил порядок демонтажа разводки труб и самой котельной. Новый объект пока не трогать. Разминку на старых трубах делать будем. А там – посмотрим.

Задачу поставил.

– Давай работать!

– Сам давай... Ты молодой...

Но всё же пошли мои архаровцы, легонько матерясь, собирать инструмент.

Работу решили начинать с резки труб «верхнего розлива» раскиданную по периметру дома на чердаке.

Чердак набит воробьями, пером птичьим. От этого першит в горле. Голуби засидели потолочные перекрытия так, что за их сухим и хрустким помётом труб почти не видно. Шифер местами проломлен то ли падающими с неба камнями, то ли звездопадом. Решето. Везде пыльные столбы света насквозь пронизывают кровлю, упираясь в птичью извёстку и разбросанную по ней бытовую рухлядь, накопившуюся за долгие годы. Но зато кругом сухо и можно приступать к работе.

Ребята, пыхтя, затащили в дом газорезательное оборудование: газовый и кислородный баллоны, резиновые шланги с резаком протянули наверх через проём лестницы. Пора начинать. Но кругом сухие брусья стропил, рвань, тряпье, бумаги, подшивки старых газет – всё это горит так, что пожарные вряд ли успеют приехать.

Со скандалом: «Начальник, у нас свои брансбойты в штанах!» – заставил принести пару вёдер воды, чтобы вовремя затушить то, что может загореться.

Собрал несколько подшивок, сложил стопкой и присел, прислонившись спиной к вентиляционной трубе. Ночью мне опять не давали спать разговорчивые на рабочем месте дежурные. Женщины! Что с них возьмёшь?

Три вызова за ночь, многовато даже для здорового молодого организма. Спать мне почти совсем не пришлось. Теперь дремота навалилась. Один глаз косит на рабочих, занятых газовой резкой, а другой глаз спит. Говорят, так по ночам дельфины отдыхают.

Чтобы не уснуть совсем, стал возиться в бумагах: «Ну что там писали журналисты-сталинисты о временах головокружения от успехов и перелома станового хребта собственничества?..»

Так, так, так, читаю: *«В нашем паровозном депо станции Кочетовка Юго-Восточной железной дороги, рабочие с помощью нормировщиков приняли обязательства производить ремонт колёсных пар на два часа короче, тем самым уменьшив расценки на 6 руб. 32 коп. за пару, что поможет сэкономить фонд оплаты труда на 431 тысячу 98 коп. и высвободит лишних ремонтников с переводом на другие работы. Рабкор Синицын Е.С.»*

В другой газете читаю: *«Жители тамбовского села Пахотный Угол приняли устав села, по которому каждый селянин до первого января следующего года должен разоблачиться и гласно перед всем миром поведать, как раньше перед прислужником мракобесия попом, о своих собственных, шкурных интересах, о которых он до недавнего времени заботился больше чем об общественных, что не раз пытался повернуть оглобли на свой двор, а не на колхозный». Ну, и так далее. А в конце жирным шрифтом восклицалось: «Даёшь руководящие указания Партии в жизнь! Вперёд к победе колхозного быта! Активист-общественник Алексей Спиридонов».*

А вот ещё одно сообщение на ломком газетном листе времён агрессивного атеизма: *«На пасхальной недели в с. Бондарях Тамбовского уезда состоялся "собор пастырей" всего Бондарского района... человек 30 пригласили представителей от милиции, ВИК и ячейки РКП (б).*

Выбрали благочинного, сделали подписку к "Живой церкви" и постановили "держатъ тесную связь с Советской властью, принимать горячее участие в проводимых кампаниях, затем организовать кружечный сбор по селу и в церкви в пользу воздушного и морского флота. Церковный служка Бочаров".

И там же подвёрстано письмо жительницы того же села:

*«Товарищеские письма жєницин
окржєнотдел.*

Из заявления гражданки с. Бондари Пучниной Татьяны Степановны.

... Вот и приходится мне с раннего утра до поздней ночи лишь только сидеть со спицами в руках глотать вредную пыль от пряжи. Я не могу уделить себе даже время почитать газету или какую-либо книгу, только праздничные дни я посвящаю чтению книг, да и то лишь тех, какие мне позволит мать. Ну и понятно, я “должна” читать какие-либо книги, дышащие старыми вредными пережитками, вроде священных писаний, а интересующие меня политические книги вырываются матерью из моих рук и даже иногда ею разрываются.

(просит помочь поступить в г. Тамбов на рабфак)

Читаю в другой газете, обрывок которой шевелился белым крылом на сквозняке: «БРИГАДЫ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА – бригады, достигшие высокой производительности труда, успехов в учёбе и коммунистическом воспитании. Их девиз: "Учиться, жить и работать по-коммунистически"».

«Движение Бригад коммунистического труда – новая, высшая форма соревнования, зародившаяся среди рабочих СССР в 1958. Идея организации Бригад коммунистического труда была впервые выдвинута 11 окт. 1958 на собрании комсомольско-молодёжного коллектива роликового (ныне тепловозоремонтного) цеха депо Москва-Сортировочная Моск. – Ряз. ж. д. 13 октября 1958 на собрании всего коллектива цеха были обсуждены и составлены "Заповеди коллектива коммунистического труда", почин депо Москва-Сортировочная нашёл широкое распространение.

Члены Бригад коммунистического труда берут на себя обязательства: 1) работать высоко-производительно, организованно, экономично; настойчиво внедрять новую технику и технологию; применять у себя всё, что есть передового, прогрессивного; 2) неустанно совершенствовать свою производств. квалификацию, овладевать марксистско-ленинской теорией, повышать общеобразовательный уровень; 3) воспитывать в себе лучшие качества человека нового общества; быть всесторонне духовно и физически развитым, примером в быту, поведении, отношении к обществ. долгу. В 1959-62 движение за звание Бригад коммунистического труда стало всенародным»

Вся эта «галиматня» навевала такую тоску и дремоту, что я широко зевнул, чуть не вывернув челюсть: «Нет, оказывается живуч дебилизм в народе, что и через полвека в газетах можно прочесть почти то же самое. Одним словом: «Вперёд, к победе коммунизма!» Почины такие встречались тогда на каждом шагу. Вот и моя контора на днях тоже приняла модный среди руководства Устав членов бригад коммунистического труда, где обобщались вечные Христовы истины и оголтело выдавались за свои, партийные.

Накинув капюшон куртки на голову, я уткнулся в сложенные на коленях руки. Уютно, ничего не скажешь...

Но подремать мне не пришлось. Тяжело, с одышкой, в потолочный люк просунулся дедок. Старичок-паучок. Кругленький, лицо в румянце, видимо, уже выпимши. Ручками отмахивается, то ли от дыма, то ли от пыли. Чихнул пару раз. Висморкался, вытер тряпицей руки:

– Со здоровьицем тебя!

– Взаимно! – коротко ответил я, не думая вступать в разговоры.

– Дом-то вы что, никак рушить собрались!

– Ломать будем, – сладко зевнул я в кулак.

– Ну, да... Что ж... Ломать – не делать! Головка не болит! Не у каждого рабочего с похмелья х... стоит, – неожиданно добавил он известную похабень.

Ну, дед! Ну, одуванчик с пустыря! Старый, а всё блатует. Видать за свою жизнь не одну ходку к «хозяину» делал. Сон как рукой смахнуло. Вроде на бомжа не похож. Беленький пушок на голове, лицо пухленькое, но без одутловатости, так свойственной людям, глубоко опущенным жизнью.

Хитроватое лицо, с усмешечкой.

– Ты-то как здесь очутился? Всех уже выселили!

– Как-как! Живу я здесь! Закакал! На, подотри! – дедок вытащил из-под меня жухлую газету, помял в пухлом кулачке.

– Дед, не хами! Хоть ты и батька, – пришёл на ум Гоголь, – а я тебя ей-богу поколочу!

Старичок-паучок так и дёрнулся всем телом, заморгал глазками, вытащил из-за пазуха чистенькую тряпицу, утёрся:

– Вот она, молодёжь, какая! Непочётники. Страху не ведают. Мне бы тебя, как в старину, – на вилы, а я с угощенищем пришёл.

В маленькой ручке у дедка заплескалась, зазолотела в широком луче света пузатенькая бутылка, судя по рассыпанным звёздочкам, коньяка.

– Ну, дед, ты, прям, волшебник! В лото выиграл что ли?

– В лото – не в лото, а похоже на то! – заспешил дед, выставляя на груди бумаг два махоньких стаканчика. – Небось, будешь? – повернулся он ко мне.

Надо признаться, что на участке, где я вынужден был работать, выпивка входила в обычай, поэтому рабочие не обращали на нас никакого внимания.

– Нельзя, дед, работа!

– Работа не Алитет, в горы не уйдёт! – по-свойски похлопал начитанный новый знакомец меня по плечу. – Давай!

А, была – не была! Почему бы не выпить? Мне приятно. Старичку – приятно! Он, старичок-паучок, как маслом протёрт. Светится весь:

– Давай, чего ты?

– Даю, даю! – вот уже и забылась трудовая дисциплина. Вот уже и стаканчик к руке прилип. Выпью, небось...

Коньяк и вправду был высшего сорта. Горьковатый, но с привкусом настоящего шоколада. Того, советского, твёрдого, как стекло и бодрящего, как бразильский кофе в горячей песочнице. Сон сразу испарился, и захотелось что-то делать приятное и старичку этому, и своим рабочим копошащимися в углу с трубами.

– Мужики, перерыв на обед не пропустите! – удивился я сам себе, такому порыву.

– Во-во! Рабочего человека жалеть надобно! Он авангард мира. Земной шар, как Геракл на плечах держит. – На-ка, закуси! – и подаёт мне, предварительно вытерев о рукав, большое красное яблоко.

– После первой не закусываю! – храбрюсь я. Недавно посмотрел фильм «Судьба человека», вот и заломил крылатую фразу.

– Ну да! Пить да закусывать, зачем тогда пить! – посмотрел, повертел яблоко в руке и захрустел, судя по всему, крепкими, как голыш-камень, зубами.

Вот это дед! Вот паучок-моховичок! Зубы, как у акулы!

– Где такие зубы повставлял? Подскажи!

Дед оторвался от яблока. Закинул огрызок через плечо и растянул в широком оскале рот. Постучал пальцем по передним зубам:

– От родителей такие! Хочешь, вон тот электрический провод перекушу!

– Не, дед! Не выхваляйся! Зачем рисковать? У меня вот тоже сосед был. В семьдесят пять лет по минуте на голове стоял, а потом его параличом разбило. Его предупреждали: «Не выхваляйся, моча в голову ударит!» Вот и ударило.

Дедок, мотнув головой, щёлкнул зубами так, как ловят на солнечном припёке шалавые дворняги надоедливых мух. Щёлкнул и выплюнул в сторону, как мне показалось, конец электрического провода:

– Давай, повторим! – чудной знакомец снова плеснул, не глядя, в мой стакан, который сразу стал полным.

Выпили. Посидели, помолчали.

- Ты баб любишь? – почему-то спросил он.
- Дед, а кто же их не любит?
- А они тебя?
- И я их тоже! – отшутился по обычаю я.
- Да... Бабы – это такая живность, что хошь кого к себе приманит.
- Давай за баб!
- Давай! – расхрабрился я.
- Снова выпили.
- Ты, я слышал, в писатели метишь?

Откуда этот патриарх узнал мою самую затаённую мысль? Наверное, архаровцы рассказали! Недавно в газете вышли мои боевые стихи о рабочем классе. Целая подборка, которой я несказанно гордился.

- Ну, вроде того... – неопределённо ответил я.
- Дедок откуда-то из-под себя вытащил в кожаном переплёте старинную тетрадь.
- На вот тебе гостинец! Про попов. Почитай! – протягивает фолиант.

В то время я был молод и нелюбопытен, но тетрадь всё-таки взял: нехорошо разочаровывать хорошего человека.

Кожаная обложка тетради была вытерта до самой мездры и жестка, что фанера. Повертел в руках:

- Куда её, дед? С Божьей помощью котельную растапливать!

При упоминании о Боге, старичок весь как-то скукожился, померк. Выхватил из моих рук несколько листков:

- Во-во! Топить будем! – и стал поджигать бумагу и бросать горящее пламя себе под ноги.
- Что же ты, сволочь, делаешь? Сгорим! – я кинулся за ним. В горле першило. Жарко.
- Сунув тетрадь за пазуху, я кинулся за этим сумасшедшим.
- Не догонишь! Не догонишь! – по-ребячьи вскрикивал он, бегая по чердаку и разбрасывая во все стороны огонь.

Стало нечем дышать. Ворох бумаг, на которых я сидел уже занялся огнём. Кислородный шланг с рёвом извивался змеей, выхаркивая из глотки ослепительные куски горячей резины. На чердаке стало нечем дышать, и я, забыв о старике, скатился по лестнице вниз. Там баллоны. Взорвутся. Что делать? Перекрыв вентиль кислородного баллона. Сорвал с редуктора шланг. Баллон в сто килограммов. Взвалил на плечо. Выбежал на улицу. Рабочих никого. Наверное, на обеде в столовой паровозного депо. Далеко. Надо что-то делать! Позвонить в пожарку? Но телефона рядом нет. В стёклах плавилось и горело всё, что может плавиться и гореть. И вдруг полыхнуло так, что стёкла вместе с рамами вышибло почти во всех окнах. Газовый баллон напомнил о себе. Повторился эффект медицинской банки – или нет, эффект вакуумной бомбы, когда много огня, а затем разряжение воздуха. Дом разом схлопнулся, осыпался, превратившись в огромную кучу золы и песка, из которого был сделан. Остались стоять только искорёженные водопроводные трубы с гармошками отопительных батарей играть конец драмы. Пожарной команде здесь делать было уже нечего...

У меня появились проблемы, которые теперь мог решить только самый большой начальник. Хорошо ещё, что рабочих на месте не было. Обошлось без смертельного случая и уголовного преследования. Но вот – старичок... Где он? Остался под кучей обломков и пепла? Или улетел вместе с дымом? До сих пор для меня это загадка.

Сразу же после пожара и обвала дома я был вызван в большой кабинет.

– Ну, вот, – сказал начальник – ты говорил, что там работы на год, а ты за один день управился. Молодец! Я сегодня приказ о твоём награждении подписал. Иди в отдел кадров, ознакомься.

В отделе кадров мне посоветовали больше домов не рушить и вручили новенькую трудовую книжку с приказом об увольнении.

У меня в банно-прачечной котельной топившейся каменным углём работала пожилая женщина, бой-баба, дядя Клава, как все её звали. Работала она кочегаром наравне с мужиками и пила с ними на равных. Работа адская в прямом смысле. Как в преисподней. Была на равных с начальством и, как мне казалось, ручкалась с самим дьяволом. Вот ей-то, жалуясь на увольнение, я и рассказал про старичка-паучка.

– А он похабство какое говорил, или богохульствовал?

– Да, матерился, и всё про баб намекал...

Кочегарша, сняв пропитанные угольной пылью рукавицы, радостно хлопнула себя по мощным бёдрам:

– Точно, дедушка!

– Какой дедушка? Чей? Ты его знала?

– А какая баба его не знает? Домовой это был! Видит – молодой ты ещё, вот и напустил на тебя морок. Шутки у него такие!

* * *

Много лет прошло с того времени, много профессий поменять пришлось, а случай тот не забывается.

Недавно я в своих бумагах нашёл ту самую тетрадь и открыл её; огромная чёрная моль вылетела из-под обложки, покрутилась возле моего лица, обсыпала перхотью и молниеносными зигзагами устремилась в открытую форточку, где и пропала в морозном воздухе.

Чертовщина какая-то!

Пока я знакомился с рукописью, «душа моя изъязвилась» и удивился я, что не проявил тогда любопытства. А занятная рукопись. Очень занятная...

Теперь мне стала понятна та коррупционная и иная бесовщина безнаказанно творящаяся у нас в России...

Из жития протоиерея Певницкого

Русская старина

*...И если возмутительно рабство перед властями мирскими,
то неизмеримо возмутительнее видеть рабство перед владыками
духовными.*

Протоиерей Певницкий

*Прошлое живёт в настоящем.
Народная мудрость*

Начну свою биографию ab ovo, что помню, не заботясь о системе и украшениях.

Родился я в 1831 году 8-го ноября в селе Темиреве Елатомского уезда. О предках своих знаю то, что в селе Почкове Елатомского уезда жил-был диакон Флор Семёнов; у него был сын Герасим, дьячок в том селе, и отец с сыном жили вместе.

Затем Герасима поставили в то же село Почково священником.

Герасим был простой – малограмотный. Будучи дьячком, он ничем не отличался в жизни от мужиков. Поэтому, когда повезли его в Тамбов – ставить в попы, мужики дивились и говорили: “Гараська-то – попом у нас будет, – как же это мы будем у него благословение получать?!”

Но Гараська приехал из Тамбова настоящим отцом Герасимом и до конца жизни благословлял своих собратий, и все его любили. Жил он просто, как и мужики, ходил летом в рубахе, пахал сам землю и всё, что нужно по мужицкому быту, исполнял сам.

Случалось так, что нужно ему идти в церковь отслужить вечерню, а он с утра в поле пашет и боронует. Оторвётся от поля, приедет вечером с сохой и бороной верхом на лошади к церкви, привяжет лошадь в ограде церковной, а сам, в чём был и боронил – в храм, наденет ризу церковную, и, отслужив вечерню, едет тут же опять в поле доканчивать дело.

Потом место своё ещё при жизни он уступил сыну Матвею, а сам жил при сыне заштатным священником. Сыну он делал одно лишь беспокойство – тем, что любил венчать тайком незаконные свадьбы.

Для этого дела он приходил в избу вечером, или когда сына не было дома, там уже ожидает его брачная пара. Окружит он молодых около стола, да благословит жить по Божьему – и делу конец. И всё это по тогдашней простоте ему сходило с рук и не доходило до начальства. И любили же его за это мужики и бабы!..

Матвей был священником в селе Почкове, имел двух дочерей и семь сыновей, из которых старший Георгий был мой отец. Сыновья все получили образование в Тамбовской семинарии, учились отлично и были очень даровиты. Предки мои фамилии не имели. Так и подписывались, где подобает, именем и отчеством только: Флор Семёнов, Герасим Флоров, Матвей Герасимов.

Когда Матвей привёз сына своего старшего Георгия в город Шацк – учиться в училище, смотритель или, как тогда было, ректор Агишевский, дал ему фамилию Грандов, с каковою фамилией и прошёл Егор училищный курс; но при поступлении в Тамбовскую семинарию ректор, не любивший латинских фамилий, переименовал фамилию Егора из “Грандова” в “Певницкий”, так как Егор имел хороший голос и был певчий. А второму сыну, Адриану, который в училище прозывался Фортунатов, дал фамилию – “Сладкопевцев”; эту последнюю фамилию усвоили себе и все последующие братья.

Георгий Матвеевич Певницкий прожил в селе Темиреве около пяти лет, построил порядочный домик и устроился во всём хорошо. Родилось в это время у него три сына: старший Михаил, второй я – Виктор, третий Григорий.

Жили мы тихо и благословляли Господа, как вдруг совершенно неожиданно отец был переведён из Темирева в село Трескино Кирсановского уезда, – более чем за двести вёрст. Это роковое известие, как громом, поразило нас. Перебираться из родной страны, где за пять вёрст были Почково – родина отца и село Нестерово – родина матери, и ехать в чужую, далёкую, неизвестную сторону, с маленькими детьми, на голое место, оставив благоустроенный дом и хозяйство, – было страшно тяжело, тем более что ни прогонов, ни кормовых и подъёмных при перемещении священникам не полагалось: переезжай на свои последние гроши, продавай за бесценок дом, или так оставляй.

В гнетущей тоске поехал отец в Тамбов – хлопотать об оставлении его в Темиреве, на своей лошадке с работником; дорога дальняя – двести-триста вёрст. На полупути заболела лошадь, поломалась телега, и отпустил он работника с лошадыю назад, домой; а сам сел на улице какого-то села на сложенные брёвна, на большой Моршанской дороге, ждать проезжих в Тамбов и к ним примоститься до Тамбова.

Как ни хлопотал мой отец у Тамбовской консистории и у архиерея – ничего не выхлопотал; пришлось собираться в дорогу.

И как ни умолял самого владыку – не разорять его с семейством, – грозный Арсений был неумолим. Он не только не обратил никакого внимания на горькое положение; не хотел помочь тяжёлому положению хоть чем-либо материальным или моральным; он строго и непреклонно пригрозил даже совершенным лишением места.

Возвратился отец Георгий из Тамбова темнее ночи, снова все поплакали и слезами облегчили горе. Затем стали собираться в дальнюю дорогу – в *terram incognitam*.

Некоторое утешение было хоть в том, что на место Темиревское поступил зять, женатый на старшей сестре, который взял за себя оставшийся дом, обещаясь за него, что стоит, заплатить. Но заплатить ничего не имел возможности, потому что был беден, это священник Марко Васильевич Добров, который, впрочем, скоро и помер.

В селе Трескине, куда ехал отец, имелось несколько семейств молокан; и ему было предписано заняться их обращением в православную веру. Этой причиной мотивировал своё распоряжение о переводе моего отца епископ Арсений, который решил, во что бы то ни стало истребить молокан из епархии. Молокан, конечно, не истребил. Они всё более размножились и доселе процветают в епархии.

Приехав в Трескино, отец мой помещался на квартире у одного крестьянина и жил там, пока явилась возможность устроить дом на своей усадьбе.

Эту усадьбу долго не очищал переведённый в село Бокино священник Егор Александров Беляков, человек пьяный и буйный, который постоянно ругал моего отца за то, что приехал на его место, и не хотел пускать на усадьбу селиться.

Этот поп Егор старинного закала, полуграмотный, из дьячков, постоянно отравлял всякое наше спокойствие. И ничего с ним нельзя было поделывать. Брат его родной, Василий Александрович, был священником и благочинным в том же селе Трескине, другой брат – в Тамбове священником и членом консистории, Павел Александрович Беляков.

И вот безалаберный поп Егор свободно безобразничал, надеясь на защиту.

Надо было терпеть и ждать, когда дело уладится по доброй воле буяна.

Года через два такого беспокойства удалось, наконец, устроиться дешёвым домишком и вздохнуть свободно на своём гнезде.

В новом селе нужно было начинать снова.

Всё, что имелось, и нажито было в Темирове, пропало даром и ушло на разорительное перемещение. Семейство стало увеличиваться, и число детей достигло до девяти человек, которых нужно было воспитывать – кормить и учить.

Но Господь был, видимо, милостив к нашему семейству. Оно никогда не оскудевало в средствах, и все существенные нужды удовлетворялись свободно. Жизнь, конечно, была самая

скромная, умеренная, воздержанная от всяких излишеств. Мать наша была трудящаяся и экономная хозяйка, всё делала в доме своими руками и за всем следила своими глазами, оттого всё шло в дело и ничто даром не пропадало. И прихожане, видя многосемейность отца, не оставляли без помощи.

Село Трескино в крепостное время отличалось обилием мелкопоместных дворян, которые все, при даровом крестьянском труде, жили богато, и охотно великодушничали. Отец мой, имея кроткий миролюбивый и общительный характер, был ими уважаем и любим. Они с удовольствием снабжали его всем, что нужно было ему в житейском быту: присылали мужиков и баб для обработки земли и уборки хлеба, дров из своих рощ, всякого рода зерна из своих магазинов, и плодов из огородов и садов. То же делали и некоторые мужики зажиточные, так что у отца в доме было изобилие.

Сам отец хозяйством мало занимался – всё в доме было на руках матери. Да ему и некогда было. Всё время его поглощала служба и требы по приходу, который был большой и состоял из мелких посёлков и деревень, на порядочном друг от друга расстоянии. Бывало – видишь, только что приехал батюшка к обеду из одной деревни, куда ездил с причастием с утра, как является новое требование в другую деревню.

В 1842 году, по смерти священника сего же села Трескина Василия Александровича Белякова, который был благочинным, должность благочинного возложена была на моего отца, что ещё более отвлекало его от дома и хозяйства.

Умерший Беляков Василий Александрович был авторитетный человек, но имел, к сожалению всех, тот недостаток, что пил запоем, отчего и рано умер, в бедности оставив сиротами жену и дочерей. Незадолго до смерти он возведён был епископом Арсением в сан протоиерея, когда ещё не имел никаких наград, даже набедренника и скуфьи.

Это особенно и придавало авторитетности Белякову.

Но случилось это так: известная всему Тамбову помещица Андриевская, близкая епископу Арсению и с ним проживавшаяся, устроила новый храм в селе Богословке. Освящать храм, конечно, приехал нарочно из Тамбова сам Арсений. Она хотела, чтобы при её церкви в Богословке священник Иоанн Евдокимович Рождественский был непременно протоиерей. Арсений, конечно, отказать в этом не нашёл возможности, хоть Рождественский и был к протоиерейству очень молод и не имел никаких наличных прав, но смущался лишь тем, что благочинный Беляков, который и много старше и достойнее Рождественского; а потому и порешил убить зараз двух бобров. И вот при первом архиерейском служении в новоосвященном храме и посвящены были в протоиереи юный Рождественский и мужественный Беляков, и стали единственными протоиереями среди всего сельского духовенства Кирсановского уезда, на диво всем.

Должность благочинного отец мой принял неохотно. Не раз намеревался отказаться. И оставил намерение только по уговору других.

Опасался он частого непосредственного сообщения и сношения с начальством. Он хорошо знал и чувствовал, что чем дальше от начальства, тем лучше чувствуется. Особенно противна ему была консистория, где царило поголовное взяточничество, от членов и секретаря до последнего сторожа, – взяточничество наглое и дерзкое, с крюкотворчеством столоначальников и писцов и повальным их пьянством.

Люди практические, искательные и юркие добивались должности благочинного тогда, да и теперь тоже, употребляя для этого все средства, подходящие к консисторской клике. Но зато, добившись благочиния, ухитрялись выбирать с подведомого духовенства и церковей с их старостами все свои потери и убытки с такой лихвой, которая давала им полную возможность приобретать в консистории милых друзей и приятелей, готовых вытащить их из всякого болота. Жили открыто и хлебосольно для всех нужных им людей, – разъезжали на тройках с бубенчи-

ками по своим округам для разного сбора и разбора, и получали, не в пример другим, частые награды да отличия.

Так славно гремели повсюду, как мне известно, из многих благочинные: Аквилонов, Орлов и какой-то Авксентий.

Сделавшись благочинным, отец остался таким же скромным и смиренным в среде подведомых ему духовных, как прежде; благочинной отваги и осанки, какую напускали на себя обыкновенно другие, никто и никогда в нём не замечал.

С последним пономарём и церковным сторожем он всегда по-братски обращался, не говоря уже о священниках, которым он всегда охотно и бескорыстно помогал во всех их затруднениях и недоумениях.

Много неумелых и неопытных священников приезжало к нему в дом для составления разных ведомостей и отчётов по церкви и приходу, и он не тяготился учить их, и сам для них считал и составлял, что нужно и чего они не умели.

У него они ели, пили, ночевали и ничего за это не платили. Даже положенный издавна взнос со штата по 12 руб. ассигнациями благочинному к новому году для сдачи документов в консисторию не все платили исправно, и он стеснялся им об этом напоминать.

По своему округу для обозрения церквей он проезжал на подводе в одну лошадь с телегой или санями от духовенства по положению, от одного села до другого переменяя подводу, ничем не стесняя в этом духовенство.

Тихонько и скромненько придет в село, и, не желая никого беспокоить, остановится в церковной караулке и займётся тут делом, для чего приехал.

Придёт священник и не скоро уговорит его расположиться в его доме.

Если же ночью приезжал, то в караулке у сторожа и ночевал, приказав, чтобы до утра никому о его приезде не говорил. Сам, живя со всеми мирно и относясь ко всем искренне-доброжелательно, старался, чтобы и подведомое ему духовенство жило между собой мирно и не заводило тяжёлых дел в консистории.

Сам примирял ссорящихся, сам разрешал споры полюбовным соглашением, вразумляя и убеждая не доводить дело до консистории: “Там, говорил он, возмут и с правого и с виноватого, а дела, как следует, не разберут; вы же останетесь в одном убытке и только накормите сытых-пресытых консисторских”.

За такой миролюбивый образ действий всё духовенство его любило. Но консистория очень недолго любила. Он отбивал у неё хлеб, добываемый ею из ссор, споров и кляузных дел и жалоб в духовенстве. Поэтому старались держать Трескинского благочинного в чёрном теле: обхождением с наградами, поручением ему для расследования тяжёлых и кляузных дел и многими другими придирками.

Отец мой не имел наперсного креста до 25-ти лет одной благочинной службы. Обошли его узаконенной наградой орденом св. Анны 3 ст. за 12-летнее благочинное служение по статуту, и дали уже через несколько лет позже, и то по особому настоянию протоиерея Москвина, члена консистории, академика, который поступил в консисторию из законоучителей, и единственный в консистории был человек, не заражённый взяточничеством.

Протоиерей Москвин был в Тамбове человеком авторитетным и влиятельным, хотя не по своим одним достоинствам, а более всего потому, что был родной и любимый племянник епископа Арсения.

При Арсении он жил с малых лет, обучался в Тамбовской семинарии, учился хорошо, и дошёл до философского класса, по окончании которого Арсений захотел послать его в Киевскую академию, помимо последнего класса семинарии – богословского, для высшего образования, и отправил его туда с одним из лучших студентов Тамбовской семинарии, предназначенным в академию семинарией из богословского класса.

Этому студенту, как руководителю, и поручен был Арсением племянник Иван Андреевич Москвин, на весь академический курс.

Только Иван Андреевич, как не прошедший в семинарии богословского класса, оказался незрелым для усвоения высшего академического образования. Но по протекции дядюшки Арсения он мог пройти беспрепятственно академический курс. И снисходительное академическое начальство выпустило его кандидатом академии.

Из академии приехал он в Тамбов под крыло своего дядюшки, который определил его учителем в семинарию, женил на воспитаннице г-жи Андриевской, обожавшей Арсения, и поставил в протоиереи к церкви Тамбовского кадетского корпуса, с поручением ему законоучительства в этом корпусе и с сохранением при этом учительской должности в семинарии. Андриевская дала за своей воспитанницей хорошее приданое; устроила им большой дом в Тамбове – доходный от квартир; снабдила их заводскими лошадьми, к которым Иван Андреевич впоследствии получил большое пристрастие, и завёл даже у себя маленький завод, ухарски с детьми разъезжал по Тамбову на заводских тройках, катаясь для удовольствия.

Несчастен он был лишь тем, что жена у него вскоре оказалась больная, не любила никуда выходить из дома и о чём-то всё грустила, лет через 15 супружеской жизни умерла в чахотке, оставив мужу на попечение дочь и сына. Рассказывали тогда, что воспитанница Андриевской, выходя замуж за светского Москвина, не думала, что муж её будет лицом духовным. И, когда он стал им, то произошло такое странное явление, что Ивана Андреевича вместе с женой никто нигде и никогда не видал, и жена стала жить в доме, как в старину, круглый год всё взаперти, скучая и грустя.

Впрочем, такое несчастье, по-видимому, судя по внешности, как будто не оказывало на Ивана Андреевича никакого сокрушительного влияния. Телесность его была всегда цветущая, здоровая. Лицо было пластической красоты, корпус жирный, с порядочным брюшком. Душою был благодушен, не вдумчив и не задумчив. Вообще был человек благоутробный и ел аппетитно и спал беспробудно; только вина никогда не пил, табак не курил и в карты не играл, и никаких компаний, как дома, так и у других, не любил.

Этому благодущию и благоутробию много способствовало лёгкое удовлетворение его мелких страстишек к лошадям, к деньгам и к почестям.

Всё это доставалось ему без труда, без забот и хлопот, как бы по волшебному жезлу.

В семинарии он был из рук вон плохим учителем, с самыми жалкими познаниями своего предмета, ученики потешались над ним, хотя и любили его за доброту и простоту обращения с ними.

Любовь учеников ему очень нравилась, и он с удовольствием позволял им толпами окружать себя при выходе из класса и сопровождать себя до дома, со смехом выслушивая всё, что они ему говорили и сплетничали – что знали и слышали, особенно про тогдашнее монашеское начальство семинарии.

В кадетском корпусе он был вполне на своём месте: тут он учил маленьких детей самым элементарным познаниям и был образцовым законоучителем.

В Тамбовском корпусе учились кадеты только маленьких классов, приготовительных к большому корпусу, Воронежскому.

Здесь Иван Андреевич прошёл свою службу с честью и достоинством, пользуясь уважением корпусного начальства и любовью всех, и вышел оттуда с полным пенсионом, заняв место кафедрального протоиерея при соборе, по смерти протоиерея Никифора Телятинского.

Будучи членом консистории и протоиереем собора, он был ещё смотрителем духовного училища, и, по оставлении последней должности, сделан был инспектором семинарии.

Награды за отличия он получал очень быстро; сравнительно молодым ещё в среде духовенства, он, как редкое явление, имел орден св. Владимира 3-й степени, который получил

прямо, помимо 4-й степени, и, наконец, возжелал архиерейского сана, с золотою шапкою и панагиею.

Для него беспрепятственно и без всякой нужды было открыто в Тамбове викариатство, которое и занял Иван Андреевич Москвин, преобразившись предварительно в архимандрита Иоанникия в Тамбове, и затем по поездке в Петербург стал епископом Козловским, викарием Тамбовским.

Для жительства в Тамбове дан ему дом, принадлежащий Трегуляеву и Козловскому монастырям близ консистории, а в управление и в пособие к содержанию отдан Троицкий Козловский монастырь.

Достигши до апогея величия, он мечтал скоро быть и самостоятельным епископом в Тамбове и даже высказывал это по секрету своим приближённым. Но *homo proponit, sed Deus disponit*. И судьбы Божии неисповедимы. Иван Андреевич был человек, так сказать, внешний; имея много должностей и исполняя тихонько и легонько их требование, большей частью через руки и головы других, он постоянно – каждый день – был в приятном развлечении и с удовольствием, после лёгких трудов, приезжал домой, с аппетитом кушал за обедом в час или два пополудни, и затем после приятного сна отправлялся кататься на своих заводских лошадях.

Сделавшись монахом и викарным, он принуждён был сидеть уже дома, и большей частью без дела, ибо какое же дело может быть у викарного епископа в Тамбове, когда самостоятельные-то епископы скучают без дела, которое всегда представляется им уже заранее обделанным, и для развлечения иные часто принимают за дела безразличные, а то и вовсе ненужные.

А викарному в Тамбове и умереть можно от скуки и безделья.

Быть может, это именно и случилось с нашим викарным Иоанникием. С тех пор, как принял он великое монашеское пострижение с клятвенным отречением от мира и всех прелестей его, он как-то вдруг увял, потерял цветущий здоровый вид и полубольной поехал в Петербург. Там немного поправился и возвратился в Тамбов бодрым и весёлым. Но это продолжалось недолго. Оторванный от прежней привычной деятельности – разнообразной, подвижной и развлекательной, и связанный монашеством и архиерейством, без привычки к кабинетному сидению и по отсутствию определённого ему дела, не имея возможности покататься открыто, как бывало, он скоро, на первом же году архиерейства, сильно заскучал.

“Вот оно и архиерейство”, – часто говаривал он из глубины тоскующего сердца, – “что в нём? Сиди в четырёх стенах и смотри в окошко, как люди идут и гуляют куда хотят, на просторе”.

Затем случилась серьёзная болезнь – карбункул, которую так лечили наши эскулапы, что вместо одного карбункула появилось их на спине больного множество.

Эта страшная и мучительная болезнь и прекратила жизнь Ивана Андреевича Москвина в 1869 году на пятьдесят шестом году, не более.

Похоронили его по-архиерейски, с особой торжественностью, при участии всего духовенства с епископом Феодосием во главе, в храме соборном в нижнем этаже на правой стороне. Много было народа и много сказано было речей.

Волшебным жезлом в быстром возвышении и видимом благополучии жизни, так печально впрочем, окончившейся, был для Ивана Андреевича во всю его жизнь до смерти дядюшка его епископ Арсений.

В Тамбове он его поставил и обставил с самого начала на хорошем месте весьма прочно, а Иван Андреевич и сам имел великую способность держаться цепко и с тактом на прочных местах. И хотя Арсений в 1841 году и переведён был в Каменец-Подольск, но и оттуда постоянно награждал племянника богатой милостью, и особенно стали сыпаться эти милости, когда сделался членом Св. Синода в сане архиепископа Волынского и затем митрополита Киевского.

Ежегодно, и не раз в год, присылались на имя Ивана Андреевича от Арсения денежные пакеты всегда в большой сумме – 5 тыс., 10 тыс., 13 тыс., так что из этих посылок одних соста-

вился большой денежный капитал. По милости Арсения никогда не было отказа Ивану Андреевичу ни в какой награде, и он получал их быстро и ранее всех.

Арсений сделал его и ненужным викарием в Тамбове, и был бы он непременно и самостоятельным там епископом, если бы смерть подождала хоть один год.

По смерти Ивана Андреевича (Иоанникия) весь огромный капитал достался дочери его, Надежде Ивановне, как единственной наследнице, которая, оставшись девицей, жила скромно при своём огромном богатстве, увеличившемся ещё некоторой частью наследства из оставшегося имущества по смерти деда, митрополита Арсения; она фигурировала в аристократическом обществе по части филантропии.

Сын, прекрасный молодой человек, блистательно окончивший семинарию, заболел чахоткой и умер год спустя после смерти отца.

В консистории Иван Андреевич был хоть и малодетелен и малосведущ в деле, но и одно то было дорого и полезно, что он среди пошлости, грубости, невежества и хищничества, хитрости консисторской, светился один, как человек благородный, добрый, бесхитростный и совершенно бескорыстный, и этими своими достоинствами стушёвывал и умерял резкость консисторского безобразия. Он, насколько мог, был искренним защитником всех обиженных и оскорблённых и готов был сделать всякому добро. Только консисторские, пользуясь его добротой и простотой, умели его провести и часто обдeldывали делишки по-своему.

Но всё-таки злодеи в консистории его одного только и побаивались, а добрые на него надеялись.

Отец мой боялся консистории, как смертного греха, и избегал всячески лично бывать в ней.

Если было какое-либо дело до консистории, то он лучше дойдёт бывало до дома протоколита консистории, который считался человеком “сходным”, не жадным до большой взятки, даст ему два-три рубля, и он справится, о чём нужно.

В начале каждого года неизбежно было личное явление в консисторию для сдачи ведомостей и отчётности благочинной. Тут приходилось испытать все мытарства: в архиерейской приёмной, у келейников и письмоводителя, – в канцелярии, у сторожей и писцов консисторских.

Все эти лица поздравляли отца благочинного с Новым Годом и жадно смотрели ему в глаза. Непременно надо всем давать и давать. Иначе не было ходу вперёд.

Отделавшись деньгой по рангу от мелких троглодит, нужно было подступать к крупным. К некоторым из них, например, секретарю, экспедиционному члену и столоначальнику, отец ходил на дом. Секретарю давал золотой, столоначальнику платил много более – лично, и на весь стол члену по менее всех.

Отец платил деньгами, гусями, индейками и утками, но его дарами довольные не были.

Отец это видел, приходил домой крайне утомлённый и физически и нравственно, но дать больше не мог, потому что истрачивал на эти расходы много своих кровных денег за недостатком обычных сборов на это с духовенства.

«Был я у секретаря, – помню, говорил он нам, детям, – были у него другие благочинные. Секретарь угощение – чай и закуску с выпивкой устроил, все весело провели время. Слышу, другие благочинные тихо говорят между собой, что надо ещё дать, хорошо угостил. Они уже по приходе, как и я, дали ему по золотому. Когда стали уходить, дали ещё по золотому, но я воздержался».

Секретарь этот – Кашкаров, жил роскошно, гостеприимно, и любил покушать. Он сам говорил, что когда стал принимать благочинных на дому и угощать их, доход его с них удвоился – получал он три тысячи, а теперь шесть... Нельзя было отцу моему быть щедрым к консисторским троглодитам и давать лишний золотой секретарю Кашкарову за стакан чаю и рюмку

вина. Щедрые на это благочинные умели золотые возвращать с лихвой из своего благочиния, а отец мой на это не имел способности, да и большая семья тому мешала.

Между тем подросли сыновья, и их, сразу четырёх, приходилось содержать в Тамбове в семинарии и училище.

Ученическое содержание наше было самое скромное: щи с мясом и каша с маслом, постом без мяса и с конопляным маслом; чаю нам не полагалось, а вместо него краюха чёрного хлеба. Одежда была: летом – халат нанковый и для дождя чекмень или чуйка из толстого самодельного сукна синего или чёрного; зимой – овчинный тулуп, нагольный и крытый краше-ниной из холста посконного. Обувь – сапоги личные, смазываемые дёгтем, и валенные сапоги или валенки без голенищ. В этой одежде ходили мы в классы, а дома в рубашках и портах, опоясавшись тоненьким поясом из тесьмы, летом ходили босиком. В старших классах ходили мы уже в сюртуках нанковых, или суконных тонкого хорошего сукна с триковыми брюками навывпуск, в смазанных сапогах даже со скрипом, в шинелях и пальто. Дома же одевались в халаты-шлафорки из ситца с цветами.

Тогдашнее воспитание было суровое. Учили нас мало, но много мучили, особенно сечением розгами, в котором и ставили всё своё педагогическое искусство.

Особенно глубокую память оставили в учениках своим артистическим сечением Николай Надеждин, Александр Иванович Колчев и Василий Иванович Кобяков.

Способные и прилежные ученики хорошо учились, были дисциплинированы и без экзекуций. Но малоспособных и ленивых, особенно при отсутствии толкового обучения, и при одном только задавании уроков по книжке, от сих и до сих на зубрёжку, со стороны учителей не только не побуждали лучше учиться, но ещё более отупляли и ожесточали все бывшие в ходу тогда варварские наказания. Трепанье за виски и уши, битьё по щекам и голове ладонью и кулаком, удары линейкой по ладоням и сечение розгами в классе на полу, – всё было в ходу.

Засел у меня на памяти один из секуторов, Пётр Колчев, ещё в первом классе училища. Засел потому, что его руками я был высечен легонько, потому что Колчев имел ко мне почему-то расположение, что оставило во мне неизгладимое горькое впечатление. И произошло оно как-то случайно, неожиданно. Был в училище учитель, какой-то родственник дальний моего отца, Григорий Семёнович Смирнов. Зашёл он почему-то в первый класс, где я учился. Обратил внимание на меня как родственника, посмотрел мою тетрадь, по которой я учился писать; нашёл, что я пишу плохо, и велел тут же меня высечь. И, отдав мне этот родственный долг, сейчас же и ушёл, оставив меня в слезах и в большом негодовании.

После никогда не приходилось мне с ним сталкиваться во всё моё учение, но почему-то доселе живёт во мне к этому человеку невольная антипатия. Этот Смирнов был священником в Тамбовском женском монастыре, а потом архимандритом в Трегуляеве.

Всё это в училище, где я учился старательно во всех классах, числился в числе лучших учеников, и страшно боялся сечения, и прошёл без сечения весь училищный курс, если бы не этот проклятый случай.

Ученье в семинарии было лучше и жизнь поблагороднее; перешедшие в неё так и говорили про себя тогда, что они уже в благородном классе.

Перешёл я в семинарию из училища в 1846 году и поступил в третье отделение класса риторики.

При поступлении в семинарию, я очень боялся, как бы не пришлось мне учиться во втором отделении риторики, у знаменитого в своём роде Павла Ивановича Остроумова, бывшего тогда профессором риторики и секретарём семинарского правления. Он имел в семинарии большую силу, не безопасную. Человек был умный, но лъстиво-хитрый; умел извлекать особый доходец из своих должностей. При распределении учеников по трём отделениям риторики, из разных училищ поступивших в семинарию, он обыкновенно устраивал так, что большая часть детей протоиерейских, благочинных и всех более или менее зажиточных родителей всегда ока-

зывались в его втором отделении. И он искусно эксплуатировал это обстоятельство так, что обеспечивал себя достаточно в средствах жизни на богатую ногу.

Всякий богатый шалопай, учась в его отделении, шёл выше других, и даже тупица и бездарный свободно переходил в высшие классы, а другие, при другом условии, или оставлялись или увольнялись.

Многих он проводил целый курс семинарский до благополучного окончания из такого сорта учеников, которые давно были бы исключены из первого класса семинарии по своей закоренелой лени, тупости и безуспешности, за это он пользовался от благодарных отцов подобающим возмездием и деньгами и натурой.

Он всегда имел хороших лошадей, и всё даровых.

Был даже такой случай, что Павел Иванович протащил весь курс одного ученика-бедняка, обладавшего большим ростом и физической крепкой силой, поместив его в своей кухне в качестве дворника, который у него рубил дрова, таскал воду, топил печи и носил с базара на атлетических плечах мешки с покупками. Учиться он не имел возможности и даже редко посещал классы. Окончив такими путями курс семинарского обучения, он поступил диаконом в г. Козлов, запасшись в семинарии только одним голосищем.

Все профессора были люди умные и добрые, с подобающей солидностью внешней и с великодушием внутренним.

Правда, некоторые позволяли себе кутнуть порядочно; но пить-то они пили, да дело разумели. Все ученики их любили и уважали, за то именно, что они искренно желали и добивались, чтобы их преподавание принесло действительно пользу. Да будет вечная память этим умным и добрым наставникам! Им мы обязаны своим умственным и нравственным развитием и надлежащим знанием, тем более что тогдашнее монашеское начальство семинарии было не на высоте положения.

Ректор, хромоногий архимандрит Адриан, и инспектор, архимандрит Лаврентий, до того были скудны и по внутреннему содержанию, и по внешнему складу, и образу действий, что дивиться нужно, как попали они на должности, которые для них совершенно были не по плечу.

Про их скудоумие и странные, несвойственные священнослужителям действия, ходило много забавных анекдотов. Ученики над ними смеялись, а наставники сокрушались.

Однако ж они немало лет управляли семинарией, покуда не надумались убрать их в свои места – монастыри.

С уходом их управление попало в руки двух молодых иеромонахов – однокашников по Московской академии – Макария и Авраамия.

Они были люди добрые и не глупые, особенно первый, который мог бы быть хорошим ректором и пойти далее, но в монашество они вступили как-то бессознательно, будучи ещё студентами – учениками академии, увлечшись одной туманной мыслью о блестящей будущности, не на небе конечно, а на земле.

Из академии тотчас же по окончании прислали этих юношей-монахов в нашу семинарию – Макария прямо инспектором, а Авраамия – профессором.

Жили они между собой по-приятельски и были всегда неразлучны. Как люди молодые, с избытком сил и здоровья, с кипучими страстями, которым монашество вовсе было не к лицу, они с самого начала зажили не по-монашески, стали поскучивать и своё дело из рук упустили.

На беду семинарии Макарию, за долгим неприбытием нового ректора, поручена была для исправления его должность, а Авраамия – должность инспектора.

Много было в это время неладного в семинарии. Но благодаря хорошим профессорам учебная часть стояла прочно; управление же экономии поддерживали: секретарь Павел Иванович Остроумов, о котором была уже речь, и тоже знаменитый в своём роде эксплуататор семинарской бursы, давнишний и много лет служивший в семинарии, эконо́м Степан Абра-

мович Березнеговский. Он был ещё священником при церкви общественной больницы; был у него зять в Тамбове – доктор Николаев.

Рассказывали, что как только начиналась какая постройка в семинарии, или ремонт, непременно то же происходило и у доктора Николаева, который оставил в Тамбове своему семейству огромные дома на Большой улице...

Макарий и Авраамий, как вместе в одно время и взяты были из семинарии, и для обновления и поправления своего расшатанного состояния размещены врозь и с повышением: Макарий в инспектора Казанской академии, а Авраамий в инспектора семинарии Симбирской. Но оба до архиерейства не дошли.

Был я в риторике уже на втором году, как в нашу семинарию поступил ректором архимандрит Платон.

На первый раз, осматривая учеников по классам, он показался нам величественным и грозным. Все ждали, что из него выйдет.

Время показало, что он принёс и оставил много доброго и полезного в семинарии. Человек он был умный, учёный и добрый – мягкосердечный, но вспыльчивый. Ученики его боялись, но при этом все были к нему расположены за его серьёзное, строгое, но сердечное отношение к ним. Управление семинарией он крепко держал в руках, и сам зорко следил за всем.

Это был полновластный господин и хозяин в семинарии. Боялись его не одни ученики; побаивались и инспектор и все наставники, и держали себя перед ним в струнку. Ректор Платон благополучно и с честью прослужил в Тамбовской семинарии около семи лет, достиг архиерейства и умер в Костроме в сане архиепископа Костромского.

Во время Платонова управления Тамбовской семинарией поступил в нашу семинарию наставником по церковной истории удивительный иеромонах Иероним, по фамилии Геннер, человек тёмного происхождения и сам очень тёмный в своей жизни. Учился он в Дерптском университете, знал немецкий и французский языки и хорошо говорил на них; похож был на поляка и выглядел чистокровным иезуитом. По неудачам в жизни светской, он задумал составить себе карьеру в монашестве, благо это тогда и ныне было и есть самое удобное. Для этого подбился он к знаменитому Иннокентию архиепископу и при его содействии окончил курс богословский в Киевской академии, приняв монашеское пострижение.

И вот в таких атрибутах он оказался в нашей семинарии – феномен замечательной безнравственности. В иеромонахе Иерониме не только не было ничего священномонашеского, но не было почти ничего и просто человеческого. Он был и атеист, и материалист, и индифферентист, и грязный циник, умевший скрыть эту черноту, где нужно, иезуитской маской, и пустить, где нужно, в ход, с иезуитской ловкостью.

Начальство не могло скоро его распознать. Он лицемерил и хитрил перед ним увлекательно и низкопоклонничал ему и лобызал руки его обаятельно.

Ученики скорее всех его поняли и узнали в нём волка в овечьей шкуре.

Науку свою, историю церкви, он не преподавал, а болтал разные побасёнки, развращающие понятия учеников, и открыто в классе глумился над всем священным, церковным и нравственным, а в частных сношениях с учениками его балагурству и болтовне, всегда антирелигиозной, безнравственной, циничной, не было предела и никакого удержу.

Службу в храме совершал он с возмутительной театральной позировкой, гнусливым голосом растягивал неестественно возгласы, декламировал вслух тайные молитвы священника, картинно воздевал руки и распростирался при земных поклонах, и тем, особенно сначала, производил на всех учеников забавное изумление...

В городе на Тезиковой улице он посещал женщину, которой выстроил домик, и все в городе и семинаристы так и звали её Иеронимша; и это название осталось за ней навсегда...

Как ни низок был Иероним, но, удивительное дело, ни ректор Платон, ни вновь поступивший инспектор иеромонах Дмитрий как бы не замечали этой его низости. Думается, что

кроме иезуитского искусства, которым Иероним их обвораживал, тут много значило ещё обаяние Иннокентиевской протекции к Иерониму.

Платон поручил даже должность помощника инспектора Иерониму, а Дмитрий со временем всё теснее и теснее сближался с ним, и стал его другом и единомышленником. Это сближение для молодого инспектора Дмитрия, прямо из-за академической скамейки поступившего в блюстители нравственности нашей в семинарии, и малозрелого и неопытного юноши-монаха, так было губительно, что этот Дмитрий, под влиянием злодейского духа Иеронима, скоро сделался пренегадным инспектором, которого ненавидели все ученики, развратником и пьяницей, от чего впоследствии впал в сумасшествие и умер преждевременно ещё в ранней молодости, в Томске.

Да, достойно особого замечания то, что злохитрый Иероним сумел обворожить ректора Платона и развратить молодого монаха, инспектора Дмитрия, но у семинаристов, как ни добивался их расположения и нужной ему популярности и близости к ним, ничего не заслужил, кроме ненависти, презрения и отвращения. Они скоро своим юношески свежим и чутким сердцем проникли в его злохудожную душу и оценили по достоинству все его откровенные с ними слова и беседы, проникнутые грубым цинизмом и безнравственностью, и поняли весь его иезуитский образ действий. Поэтому Иероним не оказал на них никакого развращающего влияния. Напротив, стал даже потешным и забавным человеком, о причудах которого они всем рассказывали на разные лады, везде протрубили его как “притчу во языцех”, как язву семинарии.

Когда Иероним убедился в таком отношении к нему семинаристов, он вдруг, как хамелеон, из лицемерного их друга превратился в злобного врага и с яростью стал всячески их преследовать и теснить.

Особенно разыгралась его злоба, когда он сделан был помощником инспектора и забрал в свои лапы неопытного инспектора Дмитрия.

Тут он пустил в ход все свои иезуитские средства и вместе с переработанным им Дмитрием с рвением бросились на ловлю учеников, как завзятые охотники на охоту. Ловили и правых и виноватых, и с наслаждением забирали в карцеры, затем производили над ними инквизиционный, с подобающими пытками, суд, на котором выпытывали всё, что им хотелось, и что давало повод притянуть к инквизиции других ими нелюбимых, или в чём-либо подозреваемых.

В это злосчастное время много пришлось потерпеть ученикам даровитым и честным за то только, что они хорошо понимали низкие душонки Иеронима и Дмитрия и никак не могли им идолопоклонничать.

Только в ректоре Платоне и находили ученики защиту. Он всех хороших учеников брал под свою защиту от этих двух борзых собак и своей властью умирал их ярость зверскую.

В надежде на Платона и не боялись многие, а иные даже смело и противодействовали, по возможности. Я и брат Михаил благополучно дошли до богословского класса и в этом классе учились богословию у самого Платона.

Как ученики первого разряда мы, как и другие Платоновы ученики, считали себя обеспеченными от козней Иеронима, и при встречах и обращениях с ним держали себя свободно, без страха, без подобострастия.

Этого уже было довольно для Ерошки, как все начали его тогда звать, чтобы возненавидеть нас.

На беду нашу я и брат были старшими поуличными, которые, по тогдашним семинарским правилам, были ближайшими надзирателями над квартирными учениками, обязанными рапортовать ежедневно инспектору, всё ли благополучно.

Вот тут-то иезуитский нюх Ерошки и уловил нас, чрез своих шпионов, в каких-то неисправностях, раздул их перед инспектором и ректором, и нас лишили старшинства и посадили на ночь в разные карцеры, куда товарищи, несмотря на запоры, приходили нас утешать и приносили кренделей.

Ерошка торжествовал и грозил, особенно мне, ещё большим. Что было делать? Опасно было то, что иезуит ухитрится обозлить против меня Платона. Вот с помощью Божьей я надумался написать Платону апологию и в ней изложить чистую правду.

Помню – писал с особенным напряжением ума и чувства. Эта-то апология так подействовала на умную и добрую душу Платона, что он с радушием принял меня, успокоил от напрасного страха и объявил, что назначает меня в академию, и для свободной подготовки освободил меня от хождения в класс на уроки. Это было в мае 1852 года.

Во всё время, пока я учился в Тамбове – в училище и в семинарии, и затем в Казани в академии, тамбовским епископом был Николай. Поступил он в Тамбов из С.-Петербургской академии, в которой был ректором. Человек большого ума и доброго сердца, хотя по виду и был невзрачен, дурён лицом и мал ростом.

В первые годы своего служения он был деятельным по управлению. Хорошо составлял и говорил часто проповеди, которые поражали глубиной содержания и простотой изложения. В беседах и разговорах не был многоречив; но говорил кратко, отрывочно и всегда метко, логично и остро. Богословскую науку, которую он преподавал в академии, знал основательно и был по этой части многосведущ.

Когда он бывал на экзаменах в семинарии, то своими вопросами и возражениями часто ставил в тупик, не говоря об учениках, и профессоров и ректора. Задавая вопрос ученику, он непременно для разрешения его втянет профессора и ректора, и начнёт отрывистыми словами, метко и логично обрывать их ответы, пока не доведёт всех до молчания.

Мы, ученики, смотрели на него, как на мудреца, и дивились его уму. За ум прославляло его и всё духовенство в епархии...

Но ум-то, положим, и был велик у епископа Николая, только управление его епархией было неумелое, слабое и распущенное.

Особенно это стало заметно и росло далее до конца его служения, года через три-четыре, когда он вызван был на год в С.-Петербург для присутствования в Св. Синоде, куда не хотелось ехать, и оттуда через год возвратился.

Провожая в Петербург, его видели плачущим, и прощальную проповедь он говорил в храме с неудержимым плачем, и по возвращении оттуда не видели его никогда весёлым; он чем-то был удручён и оскорблён, и становился далее и более в своей жизни в Тамбове апатичным.

Говорили, что в Синоде он имел столкновение с всесильным тогдашним обер-прокурором графом Протасовым, генералом николаевским, который поступал со всеми в Синоде по военной команде, и Николай, как присутствующий в Синоде, по своей логической прямоте, позволял себе иногда его обрывать.

Ну, вот и отпустили его из Синода ни с чем, без повышения и награды, вопреки обычаю, и так ничем и не награждали до конца жизни, оставив в невнимании.

Духовенство любило Николая за великодушие и снисходительность, а особенно за то, что он был сердоболен к сиротам.

За сиротами он всегда охотно зачислял отцовские и родственников места, и обязывал семинаристов на сиротах-невестках жениться. Без взятия сироты-невесты никто почти не получал у него места.

Особенно сердоболен был к своей родне, которая привалила к нему из других губерний в большом количестве и наделала ему много беспокойства.

Персонал девичий – разных племянниц – он разместил по священническим местам, на некоторые поступали семинаристы и даже академисты, женившись на них обязательно; места эти были все из лучших, большей частью в Тамбове.

Прибыл к нему и родной отец-дьячок, которого он поместил на жительство у себя, в Казанском монастыре при архиерейском доме, и чтобы ему не было скучно, сделал его протоиереем, в каковом сане он и служил с монахами, торжественно и во главе, всенощные и обедни...

Отец архиерейский был у духовенства *persona grata*. К нему обращались с разными ходатайствами просители, и непременно получали нужные милости от владыки-сына, если только отец располагался за них ходатайствовать.

Расположение же это духовенство умело всегда приобретать хорошим предварительным угощением, так как отец архиерейский очень неравнодушен к угощениям, и мастер был выпить по-старинному.

Было тут немало и злоупотреблений. Но Николай смотрел на них сквозь пальцы. Да скоро он стал смотреть так и на всё, его окружающее, и на всех, около него действовавших.

Весь штатный и нештатный персонал его обстановки, свиты и управления, почувствовав свободу, пришёл в брожение и пустил в ход все свои грубые инстинкты, особенно хищнические.

Консистория ликовала, деньги валились к ней со всех сторон в изобилии; в канцелярии с кругу спились много писцов и столоначальников; некоторые только более умеренные успели нажить капиталы, обстроиться хорошими домами и завести лошадок, на которых и приезжали в консисторию по-барски.

Николай перестал заниматься делами сам и всё отдавал на волю консистории. Резолюции его на всех бумагах были всегда одни и те же, самые лаконические и механические: “в консисторию”, “пусть рассмотрит консистория”, “исполнить”, “утверждается”. И полагал он их на бумагах и делах, не читая ни бумаг, ни дел...

Члены консистории все были толстые, жирные, с порядочным брюшком, с трудом и тяжело доходили или доезжали до консистории, долго отдыхали в ней от одышки, сидя за столом, часто и неторопливо понюхивали табачок и им друг друга угощали; но дела не любили и им не занимались.

Всё, и без всякого их участия, обрабатывалось в канцелярии, под руководством секретаря, и давалось им только подписывать. И подписывали всё, почти не читая, разве что коротенькое, озабочиваясь только тем, чтобы подписаться аккуратнее, на своём местечке и по рангу.

В это злосчастное для духовенства время появился на сцене и заиграл большую роль при архиерее его письмоводитель Василий Иванович Челнавский, сам по себе ничтожный, недочка, едва прошедший несколько классов училища, и только необыкновенно юркий и способный на всякое шутовство.

Примостился он к тёплому местечку ещё в начале службы Николая и цепко держался до самого увольнения Николая на покой, нажив порядочный капитал.

Он изловчился своей юркостью так угодить архиерею, что стал к нему ближе всех и человеком самым нужным. Всякая бумага и всякое консисторское дело проходило чрез его руки и могло дойти до архиерея только чрез него и обратно. На этом перепутье он, как паук, раскинул свои сети, и так устроился в архиерейской канцелярии, что все просители и все имеющие дело до архиерея и в консистории никак не могли обойтись без Василия Ивановича.

В деле, по существу, он никому и ничем не мог помочь, потому что ничего не смыслил в нём. Но мастер был попрепятствовать всякому делу в движении на пути к архиерею, у архиерея и обратно от архиерея. Мог равным образом посодействовать и скорости движения. Поэтому все приходящие лица волей-неволей должны были ему платить, иначе бумага или дело залёживались и застревали где-то подолгу, или докладывались не вовремя и так, что должны быть оставлены без действия.

Особенно много значил он при зачислении за просителями мест и при определении их на эти места. Он имел полную возможность беспрепятственно предоставлять лучшие места тем, с кого возьмёт побольше.

Для лучшего обдѣлывания своих делишек он постарался войти в дружество с архиерейским отцом и с казначеем Казанского монастыря Геннадием, любимцем епископа Николая, и где нужно, при посредстве их, легко обрабатывать всякое выгодное ему дело у архиерея.

Особенно разыгрался Василий Иванович Челнавский в то время, когда Николай, по своей апатии, говорят и по запою, стал вести уединѣнную жизнь, редко показывался и просителям, и доступ к нему для всех был крайне затруднителен. Тут Челнавский по всей своей воле и без всякого стеснения орудовал именем архиерея по всем частям, как только было ему выгодно. Купля и продажа всего, что должно было доходить до архиерея и исходить от него, давали ему огромные барыши.

Ректор Платон сам рассказывал в семинарии, что и он даже вынужден был дать взятку Челнавскому. Никак не мог Платон дожидаться исхода какого-то представления по семинарии у владыки. Доступа к нему не было; никого не принимал. Но как-то послал Челнавскому золотой, и дело вышло на другой же день.

Вот какую силу составлял малограмотный Васька Челнавский, как его стали звать либералы в духовенстве!..

Весьма привольно и хлебно жилось при епископе Николае и всей его свите архиерейской, особенно ключарю Никифору Телятинскому и протодиакону Савушке.

Хлебно было этой свите, и всегда, в обыденное время, от служб архиерейских, с посвящением разных ставленников, с которых, как с жертвенных овец, все певчие, иподиаконы и протодиакон, беспощадно и с назойливостью, и дерзостью, набирали много денег, не стесняясь у иных бедняков, забитых и запуганных, отбивать и последние гроши.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.